



Николай Дмитриевич Крупин родился в 1954 году в селе Смольково Куйбышевской области. Окончил Куйбышевский политехнический институт и Куйбышевский государственный университет. Работал инженером, преподавателем, был частным предпринимателем. Рассказы печатались в журналах «Русское эхо», «Наш современник», «Смена», «Урал», «Дальний Восток», «Волга — XXI век» и других. Автор двух книг прозы. Живет в Самаре.

Николай Крупин

ОФИЦЕР

Повесть

1

Младшим лейтенантом возвратился с войны в свое село Федя Чичкин. Козырным валетом. Козырем! До поры до времени, правда, никто не знал в селе историю его военной карьеры. Потом уж, как Федор пить горькую стал без меры, пить да язык распускать, понятно стало односельчанам, что козырь крапленый.

А остальные-то защитники Отечества, что из его села живые с войны вернулись, — рядовые да сержантики. А он, пусть младший, но лейтенант!

Призвали его в сорок втором — возраст подошел. Ничего выдающегося к той поре Федя из себя не представлял: в школе учился так себе, не красавец, не смельчак (скорее наоборот), худой, бледный; голова вытянута, как ташкентская дыня, сплюснутая с боков, рот полуоткрыт в глупой улыбке, и непонятно, то ли его что-то рассмешило, то ли он вообще жизни радуется. Его и сверстники не задирали — не много геройства такого обидеть. Да и повода не было его обижать — ребячьих игр Федя чурался, за девками не бегал, так, около мамки да тятки все время крутился. Лет до пяти-шести почти завсегда с матерью был, а потом уж и с отцом — к мужским делам приучался.

Запомнился Феде в детстве случай один, когда он с матерью за ягодами ходил. На лесной опушке ягод — видимо-невидимо. А день! Расчудесный и неповторимый. Лето в самую пору входило — конец июня. Рядом лес. Тихо стоит, не шумит. Зеленой зеленого пышные кроны деревьев после дождей теплых. Умытые. На полянах цветов множество великое. Глаза не успевают нарадоваться.

Мать Федина вдруг оторвалась от ягод, стоит на коленях, улыбается, показывая на поляну, говорит Феде:

— Смотри, Феденька, зайчонок! Серенький!

И видит Федя — прыгает по поляне серый маленький зайчонок. Прыгнет два-три раза и притаится. Головкой испуганно во все стороны крутит. Обрадовался Федя зайчонку — ни разу он еще не видел живого зайца.

— Тише, Федя, тише! Не спугни! Пусть себе порезвится!

— А где же весь-то выводок? Зайчиха-то где? — тут же забеспокоилась Федина мать.

И словно мыслями своими тревожными беду притянула. Большой серо-коричневый камень упал с неба и раздавил зайчонка. Коротко и громко пискнул зайчонок и замолк. А камень раскрыл большие крылья и превратился в хищную птицу. Поднялась птица высоко в небо и зайчонок в лаптях понесла. А зайчонок сам-то маленький — серый комочек, только лапки длинные безжизненные болтаются в воздухе, как серые веревочки.

Заплакал Федя, бросился к матери:

— Мамака, отними у него зайчонка — ему больно!

И мать расстроилась. Гладила она по головке своего сыночка и слова ему такие сказала — на всю жизнь запомнил Федя эти слова:

— Вот как мать не слушать! Вот как своебышничать! Родные его братья, наверное, под кустом с зайчихой сидят. А он свободы захотел, баловства — вот и поплатился!

Отец Феде, дядя Алексей, был молчаливым, работающим мужиком. И случись, когда Федя разные вопросы задавал, отвечал коротко:

— Ты, главное, работай, все остальное за нас давно решено.

— А кто решил, тять?

— Бог! — и кончались сразу все вопросы у Феде. Перед ним — перед богом — каждый вечер стояла мамака на коленях, а может, просила она, на икону глядя, чтобы бог решения свои относительно и ее, и ее семьи изменил. К лучшему. А молилась она больше всего за здоровье и счастье любимого сына Федечки. И не дай бог он где-нибудь руку или ногу поранит, или живот заболит — а еще хуже и со рвотой — сама не своя становилась тетя Люба. Бледнела, ноги подкашивались, слезы в глазах. Поэтому сызмальства был приучен Федя не волновать мамаку. Из дому лишней раз не выйдет: то в казанки сам с собой играет, то матери помогает шерсть овечью сматывать, а уж как в школу пошел, так за уроками часами просиживал — туго давалось учение Феде. Дома или во дворе около отца часто крутился — плотничать отцу помогал. А что? Дело полезное и нужное на селе.

Когда про невесту для Феде разговор заходил, улыбались люди: где ему такому взять невесту? Разве вон Любку — странную девчонку, что от Чичкиных через четыре двора с матерью жила. И не поймешь, кто она: то ли девка, то ли парень: кряжистая, сильная. И с головой вроде немного не «таво». Любка эти сватовские разговоры порой слышала и, хоть и

маленькая еще была, критически смотрела на Федю, как бы оценивая, стоит с ним жизнь свою связывать или нет? Чувствовалось, что склонялась к мысли — не стоит. Даже Любка и та брезговала Федей — такой выходит совсем никудышный паренек он был.

Незаметно подошло Феде восемнадцать лет. А тут война страшная с немцами. И вдруг Федю на фронт! Уж как убивалась его мать, тетя Люба, когда Феде повестку из райвоенкомата принесла почтальонша! Как изрыдалась вся — ведь единственного ребенка ей бог послал. У других-то родителей вон и пять, и восемь детей, а у нее один единственный — и того на убой. А куда же его еще? Какой он вояка? И дядя Алексей — отец Федин — ох, как осунулся и задервенел. Хоть и в годах был Алексей Чичкин, а на фронт взяли летом сорок первого и его. Ушел, да через три месяца домой вернулся с простреленной левой рукой. В селе таких «героев» было три или четыре человека, и за глаза звали их с досады «самострелами».

2

Но не зря говорят: бог все видит и всех любит, и кого надо вознаграждает. Встретился Феде на фронте родственник, и не просто родственник, а начальник штаба стрелкового полка — подполковник. Тоже из села (другого, правда), тоже и не герой, и не красавец, а дослужился до трех годов на петлицах, потому как службу штабную хорошо понимал. Федя и походу не понюхал — очутился в штабе полка писарем. С грамотой не ахти, зато букровки выводил — загляденье. Все чичкинские мужики отличались неторопливостью и аккуратностью: если уж возьмутся за какое-нибудь дело — пусть медленно, пусть долго, но в лучшем виде исполнят. Вот и Федя был такой. Оценили его за это. Опять же — протекция.

К концу войны был уже в комендантской роте. Сержант, и орден боевой имел, а за что орден, никто, кроме него, и не знал. Федора, это потом, после возвращения в родное село, в сельскую школу много раз приглашали, чтобы рассказал подрастающему поколению, как воевал, за какой такой геройский поступок орден заслужил, но так ни разу и не удосужился герой войны выступить перед пионерами — так, глупую улыбку сотворит:

— Некада!

...С полком дошел Федор до Германии, там и остался после разгрома фашистов в составе советских оккупационных войск. Победитель, штабист. За четыре года изменился Федор — вот бы мамака (так он мать называл) его увидела — такой же худой, и голова сплюснута, но щеголь и аккуратист: обмундирование вычищенное, выглаженное. Маленькие звездочки на погонах золотом блестят (младшего лейтенанта дали), потому как каждый день зубным порошком Федор чистил их самозабвенно. Родственник его, полковник уже к тому времени, бывало, нарушая неписаный устав аппаратный, дозволял Федору водочки с ним выпить и, разговевшись, вытирая мокрым платком пот с красной шеи, через рот, набитый копченой колбасой, говорил:

— Ты, Феденька, человек недалекий, можно сказать, глупый, и ума, наверное, больше уж не наживешь. Поэтому служи исправно, начальству угождай и не перечь, и чтобы, — тут покровитель толстым, похожим на немецкую сардельку пальцем грозил, — никаких «выкрутасов»!

Федор почтительно кивал головой, глядя на жующий рот своего по-

кровителя, услужливо подливал полковнику в рюмку водку и уважительно, с поклоном к нему обращался: и все по отчеству, все по отчеству.

— Да никакой я тебе не Сидырыч, — говорил, показушно сердясь, родственник, — а товарищ полковник! Смотри, где-нибудь не ляпни не по форме! Дурак!

И, опрастывая очередную рюмку, уже тихо и спокойно говорил:

— А тебе хватит.

Брал Федину рюмку, ставил ее вверх дном, и остатки горько-сладкой прозрачной влаги, медленно стекая по стенкам рюмки вниз, оставляли мокрые, темные пятна на чистой белой скатерти.

И служил Федор исправно, и угождал, как нельзя лучше, а все ж, бывало, сделает какую-нибудь глупость, и начнет распекать его вышестоящий начальник «и в хвост, и в хрест». И стоит он, лейтенант(!), слушает оскорбительные слова и ничего против сказать не может: служба, подневольный, с одной стороны, а с другой — и сам чувствует, что истукан он и дурак. Хоть и сытая жизнь была у Федора, и погоны лейтенантские были, а все ж терзало иногда душу такое вот к нему отношение старших офицеров. Злоба и недовольство, что копились в душе, требовали выхода. Выпивка хорошо отвлекала от нехороших мыслей. И душе вроде становилось спокойнее, но это на время, а наутро, после выпивки, становилось еще хуже. Выговориться особо было не с кем — не привечали его сослуживцы. И случился с Федором «выкрутас».

Установка была для наших оккупационных войск в Германии: немцев не обижать, повежливее с ними — нам с этими немцами социализм строить. И было с этой установкой очень строго.

Уже больше года стояли советские войска в Германии. Полк, в котором служил Федор, был расквартирован в небольшом немецком городке. Городок чистый, ухоженный, не тронутый войной. Из развлечений: кино, ресторан. Конечно, если и военный человек, а отдых ему нужен. Отдыхали офицеры по-разному: и в ресторан ходили — денежное довольствие позволяло. Федор тоже иногда заходил в ресторан. Не часто — деньги берег, но нет-нет да и посетит. Вот и в тот злополучный вечер пошел Федор в ресторан. Заведение чистое, кругом порядок — немцы. Молодые, ухоженные официантки-немки. Русский немного знают, уважительные. А Федору двадцать два года — ох, как бы он приласкать хотел немочку какую-нибудь. Да где там — ему они и не улыбались. А говорят, многие офицеры с немками во всю шуры-муры крутили и по такому делу не стеснялись всякие любовные словечки на вражьем языке выучивать. Завидовал им Федор.

Занял Федор свободный столик, пропустил пару рюмок для душевного равновесия. Похорошело! Положил ногу на ногу, закурил. Небольшой оркестр музыку играет, огромная люстра под потолком висит, белосиними лучами переливчатыми светит. Дурманит дым дорогой папиросы. Хорошо! Федор и думать про деревню забыл. Здесь он свой, и все здесь его — он победитель, офицер, он кровь свою проливал ради такой жизни — вот что он думал своими мозгами, когда в них ударял алкоголь.

В ресторане много советских офицеров; водку и шампанское пьют, курят, говорят между собой о чем-то, с официантками любезничают. Попросили наши офицеры, чтобы оркестр сыграл русскую плясовую. Оркестр, конечно, заиграл — уж год музыканты этот мотив знали и играли, но, надо сказать, без особого энтузиазма. Несколько военных — это тех, кто «освежились» уже хорошо — встали в круг и давай отплясывать впри-

сядку, с уханьем. Чем-то родным повеяло на Федора. Село вдруг вспомнил. И как в их избе отец с соседями и с родственниками тоже отплясывали «русскую» с раскрасневшимися и безумными от выпитого самогона лицами. И что-то колыхнулось внутри — затосковал вроде. Налил стакан водки, выпил залпом. А плясуны все рьянее по паркету каблуками стучат; хорошо, душевно в ресторане: все улыбаются, в ладоши в такт музыки хлопают. Посмотрел Федор на хорошенькую официантку, что мимо его столика проходила, и показалось ему, что вроде с презрением и скрытой ненавистью смотрит она на пляску. «Презирает она нас, дикарями считает!» — промелькнуло в голове. Вскочил Федор из-за стола, схватил девушку за руку, толкнул в круг плясунов:

— А ну, сука, пляши, — кричит, — нашу, русскую!

Немка стоит, от страха побелела, того и гляди в обморок упадет.

— Ах ты, проститутка фашистская, убью! — с пеной у рта заорал Федор, пистолет из кобуры выхватил и давай палить в потолок — мелкие стеклышки с люстры на пол посыпались.

3

Так закончилась военная карьера Феди Чичкина. Уволили его из рядов Советской Армии. Звания и наград лишать не стали — родственник позаботился. Списали все на нервное перенапряжение: психика, де, не выдержала трудностей службы. Да и то верно. Купил себе Федя чемодан, уложил туда перво-наперво кучу фотографий своих, где он в офицерской форме; также вещичек напихал всяких немецких, чтобы деревню удивить — и на поезд «Берлин-Москва», а уж после из Москвы — домой. В свое родное Среднее Поволжье. Война, слава богу, не докатилась до этих мест, но свое и тут взяла — почти всех мужиков деревенских, кто на фронт ушел, повыкосила.

Тетя Люба не знала, куда себя деть от радости — сын вернулся! Живой, ни одной царапины. Орден, лейтенант. Она, еще не старая, маленькая сухонькая женщина, быстро-быстро бегала из дома в погреб, потом на огород, то к одним соседям, то к другим — места себе не находила от счастья — сын с войны живой и невредимый вернулся.

Фотографии Федины в деревянных рамки заключили и на стену повесили — чуть не всю стену заняли. В углу, чуть повыше фотографий — божница. И, значит, Федя чуть ниже Бога.

Чуть!

Выпивка в чичкинской избе каждый день. А разговоров! Родные, соседи — все с уважением смотрели на Федора, прислушивались, что он скажет. А он больше молчал да улыбался непонятной улыбкой, зубы желтые показывая.

О работе в колхозе пока речи не заводили в доме Федора, но и по домашнему хозяйству сынок не шибко помогал. Выйдет, бывало, в расстегнутом кителе, с медалями и орденом на груди, да с похмелья, и начинает навоз из сарая во двор выносить. Отец его, дядя Алексей, молча на это смотрел, кряхтел, только мамака никак не угомонится:

— Я тебе, Феденька, огурчиков собрала и в родник бросила, чтоб холодные были, значит. Ты опосля, как наработаешься, огурчиков-то поешь! Яйца, как ты любишь, вкрутую, на столе — в блюде.

Не одобрял отец такого сюсюканья, но что поделаешь — единственный сын живой с войны вернулся. Опять же — офицер!

Ходят, бывало, рядом по делам каким-нибудь сын Федор и отец Алексей, ходят и молчат: сыну сказать нечего, а отцу и без разговоров все понятно. Дядя Алексей еще не старый — чуть за пятьдесят. Высокий, худой был дядя Алексей, но не рохля, как сын, а жилистый, с силой. Несчастье вот ему прибавилось — не работала левая рука, как плеть висела. Но живой с войны вернулся. И это счастье все несчастья разом перекрывало.

На селе подходило время уборочной страды. Говорит отец Федору:

— Ты работать-то в колхозе будешь? Председатель спрашивал. Сейчас ведь каждый мужик в селе на вес золота.

— Нет. Что я тут не видел, я в город поеду, там за работу деньги платят, а не галочки в тетрадах ставят. Опять же, культура: кино, цирк, рестораны. А тут тоска. Самогон да навоз.

— Ну, как знаешь.

Про сына все чаще думал дядя Алексей. Больно уж изнежен с младенчества матерью. И на фронте был — пусть в штабе, а все ж не получился из него крепкий мужик. А как ему помочь? Не знал дядя Алексей. Думал так: сам себе взрослый человек должен помочь.

Скоро уехал в город Федор. Всю амуницию офицерскую в отцовском доме оставил. В сундуке. Мамака нафталином ее пересыпала.

4

Пробыл в городе Федор года четыре — не больше. Ничего примечательного в той жизни не было у него. Шесть дней в неделю работа и сон. Работа не сказать, чтобы тяжелая, но грязная, пыльная и безрадостная. Слесарем работал в формовочном цехе. Света вольного, можно сказать, не видел. С начала осени и до весны уходил на работу затемно, возвращался ночью, и в цехе — сумрак, пыль, окна закопченные. В воскресенье в кино ходил, а чаще вино пил с родственниками. Иногда не в меру пил, до полного забвения. В понедельник на работу едва поднимали. Жил — угол снимал в старом бревенчатом доме на окраине города. Иногда в голову ему приходила мысль: а ведь эта немогота на всю жизнь. Брøde и живешь, а жизни не видишь. Просто нет ее — жизни. Все надеялся Федор такую работу найти, чтобы не работать, а денежки получать. И чтобы уважение было от людей, почет и зависть знакомых и родственников. Но не повстречался больше такой родственничек, как на фронте. Один раз бог помог — ну, и на том спасибо.

Каждое лето, в июле, брал Федор отпуск и в самый сенокос приезжал в родное село: отцу помочь — дело святое. И мать рада. Сколько оханий да вздыханий — и советы: может, бросишь этот город, невесту тебе здесь найдем, дом поставим. Отмалчивался Федор.

Года четыре пробыл он в городе. И это не прошло бесследно для его дальнейшей биографии.

После войны спрос был большой на мужиков на брачном рынке. По причине, увы, известной. И «зацепила» одна женщина Федора. Красивая, статная, с гордецей. Чем-то на немецких официанток похожа. Опять же, образованная — бухгалтер. Молодая — чуть за двадцать лет. И один только недостаток — с «прицепом» была: сын у нее внебрачный имелся, двухлетний Сашка. Подвижный, смышленный; голова большая, круглая, волосы темные, и две макушки на голове спиральями скрутились. Взгляд осмысленный, и глаза темно-голубые, выразительные. Красивый и неглу-

пый, наверное, был отец у Сашки. Только не думал об этом Федор. Не подумал, что Татьяна — так звали женщину — от тоски да от томления женского за него замуж собралась. Мужчины-то у нее, случилось, были, но все приходящие — от людей стыдно, и родители корили. Сын вот тоже подрастал.

В городе с жильем было туго, поэтому решили молодожены в родное село к Федору поехать.

Через несколько лет после войны оживать стало село. Молодые мужики, что по возрасту на фронт не попали, а, значит, живы были и здоровы, жениться стали. То там, то здесь избы новые ставили, детей рожали молодые семьи. Налаживалась жизнь.

Вот и Федор в селе дом поставил. Через два двора от родительского дома, почти у оврага. Три месяца дом ставили. Мужики, что Федору помогали, измучились: больно уж все аккуратно делал Федор, затягивалась работа.

— Да что тебе, стрелять, что ли, из этого бревна! — в сердцах, матом ругались мужики на Федора, когда тот все никак не мог подогнать венец.

— Нада!

Рот полуоткрыт, голова чуть наклонена и медленно, старательно фу-ганком гладит по бревну.

Ну, уж и бражки с самогоном попили в то лето помощники-строители довольно — грех было ругаться. И Федор не слабо бражничал вместе с ними. Очень это не нравилось Татьяне. Но думала, достроят дом, и приведет себя в порядок муженек. Ошибалась Татьяна.

Дом еще достраивали — Татьяна сына родила. Назвали Лешкой в честь деда Алексея. Теперь родителей Федора стали уважительно называть бабкой и дедом. Зажила новая семья вроде нормально — Сашка маленький, Лешка совсем маленький, и заботы тоже маленькие. Чуть позже устроилась Татьяна работать на почту. Федор работал в колхозе скотником.

Дом получился у Федора добротный: выбеленные стены, наличники краской синей крашены, крыша шифером крыта. И не только жилой дом, но и сарай, и погребка — все было шифером крыто, а это на селе показатель достатка и основательности. Дом стоял на небольшом склоне у оврага, но строго по уровню клали венцы — стоял дом ровно. Небольшой палисадник перед домом Федор отгородил, привез из лесу березку небольшую посадить. Соседка, баба Нюра, что через дорогу жила, предостерегла, было, Федора:

— Плохая примета — березку перед избой сажать.

— Почему это?

— Покойник прежде времени будет.

— Ладно болтать-то, — выругался Федор. И вроде глупость соседка сказала, а в селе ни перед одним домом не было берез.

Ну, посадил и посадил.

Прошло несколько лет. Лешка подрос, и выходил он копия отца. Рохля, нерасторопный, голова продолговатая, с боков сплюснутая, и рот постоянно полуоткрыт. Но зато уж как любила его баба Люба! Слов нет, чтобы весь ее восторг перед Лешкой и всю ее любовь к нему описать! Конфетками и печеньями закармливала родного внука до рвоты. Куплетики

с ним разучивала: политически сомнительные, кулацкого содержания: «...пионеры-лодыри царя, бога продали...» И как куплетики эти пел Лешка, слова коверкая и мотив перевирая, слушала его баба Люба с неопишымым восторгом. Ну, прям не Лешка, а чистый Робертино Лоретти.

А Сашку баба Люба не любила и не привечала. Сашка уже больший был, чувствовал эту нелюбовь и без особой надобности лишний раз к бабе Любе не заходил. Были неродные бабка с дедом ему, как сейчас говорят, «до лампочки». А вот отчима Сашка ненавидел. Ненавидел и презирал. И чем старше становился Сашка, тем осмысленней и изощренней становилась ненависть. Никчемным человеком был в Сашкиных глазах Федор.

Лет несколько вроде нормально жили Татьяна с Федором. Татьяна — красавица, а Федор хоть и невзрачный мужичок, зато аккуратный, обстоятельный: и в одежде, и в привычках. Зимой в белом тулупе и белых валенках ходил (как и отец его — дед Алексей), а как тепло наставало — серый пиджак надевал, на ноги сапоги: если на работу — кирзовые, если так — яловые. И даже в самую жару. Вовнутрь — портянки. Дома чай пить сядет — газету читает, «Красная Звезда» (тоже, как дед Алексей — только тот «Известия» читал). А то, бывало, в зимние долгие вечера семечки тыквенные или подсолнуховые грыз и радио слушал. По своему радиоприемнику «Голос Ватикана» ловил! Слушал внимательно, иногда головой удивленно мотал — словно что-то понимал. А может, и понимал. Не мог же человек без понятий разных и дом прелестный построить, и содержать все в аккурате. И Ватикан он слушал не для показа — для себя.

6

Но была одна мысль у Федора и не давала она ему покоя. Глубоко эта мысль в голове у него была запрятана. И, наверное, хорошо, что глубоко. Косточка, скорее всего, находилась небольшая в самом центре головы, а в косточке той одна тоненькая жилочка мысль эту хранила. А мысль была вот какая: почему он живет не так, как хочет. Нет! Никто его не насилует и не притесняет, но получается, что не то получается, о чем он мечтал, чего хотел. К примеру, почему к нему уважения нет? Многие в селе пьют, правильнее сказать — немногие в селе не пьют. Так почему же именно его больше всего ругают на собраниях? Офицера, орденосца! Он уж скоро пятый десяток разменяет, а его все Федькой зовут. Вот председатель колхоза. Его по отчеству, хоть он всего-то сержант запаса. Ну, ладно, он начальник. А учетчик Воробьев — простреленная левая рука на фронте — тоже по отчеству. И так порой свистела эта жилка-мысль в маленькой косточке, прямо спасу нет. Опять же всех слушайся: не так сделаешь, как мать сказала — выговор, выпьешь самогонки сверх меры — мать корить начинает, плакать, жена ругается, отец хмурится, не разговаривает. У колхозного бригадира Федор везде как затычка — в самую грязную работу его сует. Слово ему напротив скажешь, а он тебя как плетью по голой спине:

— Ты, — говорит, — Федька, у нас пьяница. Скажи спасибо, что в колхозе держим.

С женой тоже спасу нет, что ни сделаешь — все не так: то зачем чеснока поел — воняет, то зачем по заду шлепнул, я женщина городская, образованная, а не потаскуха деревенская, ну, и так далее... Про Сашку-прицепа и говорить не стоит.

И задумываться стал Федор: «Не может так долго продолжаться. Когда же я человеком стану, по своей воле жить буду, а если надо, и себеышничать — у меня теперь на этих “ястребов” дробовик тульский есть. А то все оглядываюсь: то на мать, то на отца, то на жену и даже, что греха таить, на Сашку-прицепа».

После рождения Лешки мамака всю свою любовь и нежность на внука перенесла, и все чаще говорила Федору неприятные слова:

— Что же ты такой нерасторопный? Что же ты такой несмелый? У жены под каблуком, в колхозе за себя слова не вымолвишь, даже пасынок тебе грубит, а ты — молчок.

Стал понимать Федор, что для своих близких он как громоотвод. Вот почему мамака к нему с такими словами. А потому, что Лешка растет не таким, как она хочет, — упрямый, не слушается... Мамака недовольна, а на кого свое недовольство слить? На Федора — он все стерпит!

Как начинала мать такие речи Федору говорить, сразу он из дома родителей уходил. Без слов уходил. Молча. А так и хотелось крикнуть:

— А не ты ли меня учила всю жизнь покорным быть?! Не ты ли всем хвалилась, какой я у тебя стеснительный и не драчун?!

И клокотало внутри: не может так долго продолжаться, узнаете еще меня!

Но мысль была далеко в косточке запрятана, и не всегда отвлекала она Федора от текущей жизни и простых житейских мелочей.

7

А на поверхности жизни все вроде неплохо было у Федора. Жена — красавица томная. Живи и радуйся: ласкай ее взором ненасытных глаз, нежься с ней на супружеском ложе. Так нет! Утешался и радовался Федор с рюмочкой. Почему так выходило?

Кто знает? Человек — загадка. А может, мечталось ему так лучше. Может, выпьет он бутылочку белой и, глядишь, в другом мире уже, а может, и не Федор он теперь, а кто-то другой, еще не рожденный, приглядывается вокруг, а стоит ли возвращаться ему в этот мир? А может, еще о чем-то думалось, о чем другой человек и не разумеет совсем. Может, он в таком состоянии мог с собой о жизни говорить и решать что-то, решать окончательно и бесповоротно. Чтобы потом утром, с похмелья все забывать — или заставляя себя забывать — под упреки жены, матери и ненавистные взгляды пасынка.

И не сказать, чтобы запойный был Федор: бывало, день ходит пьяный, два — и ничего. А то вдруг пьет и неделю, и другую. В таком случае надевал он китель офицерский и выходил в село. Останавливался где-нибудь в одиночестве и начинал кричать: приказы отдавал безропотным солдатам.

Задевали его некоторые мужики, которым Татьяна покою не давала своей красотой и статью, и, когда пили вино вместе с Федором, говорили ему спьяна едкие слова:

— И как она с тобой спит?

Подразумевалось: как такая красивая и умная баба с тобой, с никчемным мужичонком, под одним одеялом находиться может?

Слушал эти шутки и сосед Федора Витька Кузин — он по другую сторону оврага жил. Слушал и молча, нагуженно как-то улыбался. Был он помоложе Федора, в армию призвали в 45-м, служил в десантных войс-

ках, но воевать на фронте не пришлось — разбили к тому времени немецких фашистов. А где служил, загадками говорил: «Тайна — интернациональный долг выполнял». — «А людей случалось убивать?» — интересовались мужики. Молчал Виктор. После демобилизации искать счастья в городе не стал. Вернулся в село, устроился механизатором в МТС. Женился. А скорее, женила его на себе Надька Лямкина — доярка. Надька была такая девка, если чего задумала, расшибется, убьется, но своего добьется. Двое детей было у Виктора к тому времени: сын Толька — Лешкин ровесник, да дочь — та помладше. Как родила детей Надька, следить за собой перестала: растолстела, одеваться стала во что попало: куфайку грязную на платье накинет, на босу ногу обует кирзовые сапоги с разрезанными голенищами — толстые ноги не уместались в сапогах — и к соседским бабам лясы точить, семечки поплеывая. За мужа не беспокоилась — куда он от детей денется?

А Виктор Кузин был мужик статный, с упругим стержнем внутри, гвоздь-мужик. Росту чуть выше среднего, мускулистый, поджарый; черты лица правильные, прямо как у киноактера. Спокойный, рассудительный. Аккуратный, опять же, и чистоплотный. Все лето, невзирая на погоду, после работы в деревенском пруду купался. Намылит на берегу тело и ныряет с мосток вниз головой в воду. Кругом от него по воде бело становится, а он еще и мочалкой себя трет. Рядом с огородом Чичкиных-младших находились эти мостки. Федор иногда рыбачил с них, но чтобы купаться, а тем более нырять вниз головой — нет! Не солидно для него эти мальчишеские забавы. Не одобрял Федор и азарт к спортивным играм у Виктора. Тот, случалось, идет с работы, увидит, что мальчишки мяч гоняют, бросит пиджак на траву и ну с ними бегать. А то выберет себе мальчонку поспособнее — хорошего футболиста — и говорит:

— Давайте, ребята, я с ним буду играть, а вы против нас — все остальные.

И уж в азарте, без удержу, бегал — все силы отдавал борьбе. Не понимал такого поведения взрослого человека Федор.

Очень скоро понял Виктор, что с Надькой у него промашка вышла — подловила она его на мужском нетерпении и на человеческой порядочности. В тот вечер, как встречали Виктора из армии, отдалась ему за сараем Надька, там сирень густо росла, и как раз в ту пору цвела и невыносимым запахом благоухала. Отдалась невинной и... забрюхатила. Еще до того, как в армию ушел Виктор, Надька глаз положила на него. И вот теперь своего добила. А Виктор с той поры ох как невзлюбил запах сирени.

Как привез Федор в село Татьяну, сразу она Виктору понравилась. Ну прямо вся она в его вкусе была. Может, для городских интеллигентиков и полновата немного, а для него так в самый раз: волосы светло-каштановые, по городской моде причесаны, глаза томные, темно-зеленые — так бы и утонул в них, как в омуте, и красные, полноватые, капризные губы — до крови исцеловал бы их Виктор. А голос какой! Нежный, бархатный.

Шесть лет уже прожили в соседях Чикины и Кузины. Пытался избавиться от страсти Виктор: и работал до изнеможения, и в молодую учительницу пытался влюбиться, и в Надьке что-то привлекательное искал. Но, как ни старался, еще сильнее страсть к Татьяне впивалась ему в сердце колючей занозой.

Почта находилась рядом с колхозной ремонтной базой. Заходил туда иной раз Виктор: то конверт купить, то открытку, то каталог «Посылтор-

га» посмотреть. Татьяна, конечно, сразу поняла, какой «каталог» ему нужен. И это волновало ее. Красивый был мужик Виктор, статный, гвоздь-мужик. Такой знает, где утешиться в буйной радости, пока молодые соки по молодому телу бродят и глаза ненасытным взором горят.

Поначалу ничего незначащими словечками, если кого рядом не было, стали они обволакивать свои чувства. Играли в слова, а внутри все горело и перегорало. Как смотрел Виктор на Татьяну — сердце грудь его разрывало, в горле стучало, в животе било; взгляд горел нежным безумием, руки судорогой сводило — за прилавок держался. Как бы хотел он, чтобы руки его вволю гуляли по стану чужой и желанной женщины. И у Татьяны тело сладко ныло от предчувствия прикосновений нежных, нетерпеливых и сильных рук. И душа ныла, и поднималась грудь. И еще волновало Татьяну то, что Виктор для нее как невинный мальчик был — одну женщину знал, Надьку свою. Таких мужиков опытные бабы «женихами» зовут, страстные они — жуть!

Ходил, ходил Виктор на почту, и случилось то, что должно было случиться.

На дворе стояла сухая теплая осень. Картошку селяне выкопали, по черным огородам тонкие паутинки полетели, за высокие кочки задевали, серебром отливались на солнце — бабье лето.

Под вечер — солнце уже садилось — зашел Виктор на почту конверт купить, а немного выпивши был, но так — в самый раз, для смелости. Татьяна почту как раз собралась закрывать, из-за прилавка вышла.

Словно безумный бросился к Татьяне Виктор. Упал перед ней на колени, схватил дрожащими руками за бедра и стал ноги целовать. И все выше и выше целует, к самому сокровенному движутся его губы, к самому сраму. И не то говорит что-то, не то шепчет. Безумный. И Татьяна сама не своя стала. Ладонь ему на голову положила и крепко сжала волосы в кулак.

— Витя! Витя! Подожди! Встань! — подбежала к двери, на ключ ее закрыла. Свет выключила...

8

Село не город — блуд не утаишь. Однако наши любовники были осторожны, и ничего, кроме недоказанных слухов, местные сплетники предъявить не могли. Перемены в поведении и настроении Виктора заметила и Надька, да сначала не поняла, в чем здесь дело.

Гулянку затеяли Кузины зимой по какому-то поводу. Надька выпила вина — лицо красной краской налилось — и стала похабные частушки петь визгливым голосом и с набитым ртом. Виктор, всегда степенный и сдержанный, вдруг как ахнет кулаком по столу — тихо стало, разом притихли гости — да как закричит на жену:

— Ты сначала прожуй, а потом пой! Да пой, а не визжи, как резаная свинья!

Стул бросил на пол и вышел без шапки на мороз курить.

Гости потихоньку стали расходиться — дело семейное, всякое бывает. Надька к мужу со скандалом:

— Ах ты пьяная скотина, что ж ты меня перед людьми позоришь?

Виктор собрал на затылке волосы ее в кулак, сжал, скрутил больно, посмотрел на нее глазами, полными злобы — глаза у него красные стали, кровью налились, — и сквозь зубы медленно и внятно сказал:

— Убью, паскуда!

Никогда он так зло не смотрел на свою жену, никогда слова такие нехорошие не говорил. В первый раз такая промеж супругов ссора произошла.

Дети заплакали. Надька к своим родителям побежала:

— С ума сошел Витька! Бегите, детей от него заберите, как бы чего не вышло!

Однако после этого вечера присмирела, осторожной стала и призадумалась своей хитрой головой — изворотливыми мозгами: что-то тут не то?

Нервный, бешеный стал ее Витька, и чувствовала Надька, что это от ненависти к ней он такой, а ненавидит он ее не только за деревенскую простоту и толстую фигуру, но и еще по какой-то причине. А Виктор понял, какую радость может дарить ему желанная и любимая женщина. Какими ласками его одаривала Татьяна, такие слова говорила — с ума сходил! Но это все урывками, все из-под полы. А хотелось бы открыто жить, ходить по селу, обнимая за упругий стан Татьяну, на зависть всем мужикам; и на кровати любиться, на простынях белых, а не в закутке на почте... прости господи.

И Татьяна после шести лет супружеского поста — какая любовь с пьяным «офицером», ах, как на скоромное, радостное и душевное потянуло — привязалась тоже к Виктору.

Ближе к весне дошли и до Надьки слухи, что Витька ее к соседке, Татьяне, неравнодушен. Что Надьке делать? Скандал закатить? А вдруг избьет или, еще хуже, уйдет совсем ее муженек? Татьяне космы оборвать и бесстыжие зенки выцарапать? Так то слухи, а она городская — еще засудит за увечья. Нет, это не вариант! Федору сказать? Да какой от него толк — вша серая, «ахвицер» недоделанный, напьется небось от этой новости, какой-никакой — повод. И подговорила она сына своего семилетнего Тольку, чтобы тот Сашке сказал, зачем, мол, твоя мамка с моим папкой целуется, увести от нас хочет тетя Таня нашего папку. А Сашка в третьем классе учился — понимал, уж, что к чему. Ну, Толька пошел и, как мать велела, все Сашке сказал. Домой пришел с ревом и с разбитым носом:

— Саша пригрозил, чтобы я молчал, а не то убьет!

И начал созревать у Надьки другой, страшный план.

9

Ничего не сказал Сашка матери, но озлобился еще сильнее на белый свет, замкнут стал. Считал он, что был у него рядом один человек, который его любит — мать, и та предала: соседу любовь свою дарила. И еще сильнее стал ненавидеть отчима. Из-за него теперь в селе будут на мать пальцем показывать — распутная, шлюха. И все из-за того, что отчим — ничтожество, бесхребетник, пьяница.

И никто не мог понять, что Федор любил Татьяну — не показушно, а по-своему: тихо и неприметно. Но от бессилия подчинить ее себе, сделать ее своей рабыней, и чтобы она, довольная этим сладким рабством в руках неумного в ласках, сильного и нежного мужа, была бы неприступна для других мужиков, страдал и ревновал.

Федор ревновал Татьяну не к кому-то конкретно, а в общем — абстрактно, как ученые люди говорят. Понял он, что не по зубам ему эта баба, не удовлетворяет он ее запросы или, как человек тихий и деревенский,

не понимает их. И чем сильнее ревновал, тем больше горькую пил. А как выпьет — укорять начинал жену:

— Такая-сякая, зачем задом крутишь, чулки поправляла — чуть ли не до срама платье задрала, — и все в том же духе.

И в невозможности решить неразрешимое, в отчаянии и безысходности руки стал распускать, гнать из дому стал Татьяну:

— Шлюха ты городская! Уезжай назад к своим е... в город и «прицеп» не забудь.

Это уж как и до него дошли слухи нехорошие про связь Татьяны с соседом.

Лешка все чаще к бабе Любе убегал, а Сашке куда деваться? Страдал сильно Сашка.

Со своим братом единоутробным — Лешкой — Сашка не водился, а при случае тумачков давал. За все получал Лешка: и за любовь бабы Любы, и за то, что он сын «офицера», и за то, что Сашку из города привезли в эту захудалую деревню. (Сашка летом уезжал в город к Татьяниним родителям, может, и с родным отцом виделся). Сашка дружил с соседским мальчишкой Колькой. Ровесники они были, в одном классе учились. Очень откровенен был Сашка с другом, и когда об отчине речь заходила, пугался Колька его слов:

— Убил бы его, если бы мне ничего не было, а так — в колонию отправят.

Или фантазировал:

— Спит, положим, «офицер» (Сашка отчима презрительно «офицером» называл), храпит, пьяная свинья, а я ему по горлу бритвой — на! А сам на велосипед и уеду.

— Все равно же догадаются.

— Нет! Не подумают, что маленький мальчишка мог мужика зарезать. А я скажу, что видел, как какой-то незнакомый мужчина к нам в дом заходил.

Страшно становилось Кольке от этих слов-фантазий. Но Сашка не боялся поведать Кольке свои страшные мечты, так как знал — умеет Колька тайны хранить.

Прошедшая зима снежной была. Навалило, намело, как никогда. Между двором Федора и двором Виктора овраг крутой. Но это в улице и ниже к пруду. А чуть вверх по оврагу, на «задах» и дальше на полях колхозных — склоны оврага пологие. И как будто в блюде огромном набирался там снег в огромном количестве: без лыж и не ходи — провалишься, хоть о помощи кричи. Весной «закисал» снег в этом овраге. Как солнце начинало припекать, ручейки со склонов стекали в ложбину и перемешивались со снегом, образуя снежную жидкую кашницу. И когда наступал час — вся эта кашница устремлялась вниз к реке, по логу оврага с диким шумом и ревом. Не дай бог кто рядом будет — снесет, и не найдешь. Поэтому, когда овраги «закисали», маленьких ребятишек далеко от дома не отпускали. «Трогались» овраги всегда вечером или ночью, но не позднее полуночи. Давно уже созрел для схода воды овраг за домом Федора, уже поверх мокрого снега вода стояла, и от ветра рябило мелкими волнами. Вот-вот пойдет лавина вниз крушить все на своем пути.

В тот день с утра не то опохмелился, не то просто выпил Федор; потом с соседом Володькой, что напротив через дорогу жил, добавил вонючей самогонки и, как с работы Татьяна пришла, чуть на ногах стоял. В сердцах попрекнула Татьяна своего мужа, а тот матом ответил да угроза-

ми. Лешка был у бабы Любы, Сашка дома книжку читал. Видит Сашка, ругань в доме начинается — на улицу вышел.

— Я к Кольке пойду, — крикнул матери.

Минут через десять гул низкий раздался — овраг тронулся. Чуть на ногах держась, вышел к оврагу Федор посмотреть на буйство стихии. Прямо на краю снежного берега встал. Снег утопанный, дорога там проходила. Вода вешняя, что по оврагу пошла, дорогу эту смела своей силой, перерезала. Смотрел Федор на черно-желтую воду, что неслась мимо него вперемешку со снегом, думал о чем-то. А о чем? Через минуту спроси его — не скажет. И тут: то ли голова от быстрой воды закружилась, то ли снег под ногами обвалился — очутился в воде Федор. И в такой водоворот попал — сразу под водой скрылся. Пронесло его метров тридцать вниз по течению. А там, перед впадением в пруд, овраг резкий поворот делал, и в том месте ивняк густо рос. Каким-то чудом удалось Федору зацепиться за кусты и вылезти на берег. На спину лег, ноги вверх поднял, воду из чесанок вылил. И бегом домой. Сразу протрезвел — только запах бражный остался. Бежать недалеко — шагов с полста, но в гору. И когда бежал Федор, как прострелило его: как же так — стоял, стоял и упал — значит, кто-нибудь толкнул? И точно — вспомнил он, — как будто кто между лопаток стукнул его. И сразу мысль — кто? Кто больше всего ненавидел его, кто смерти его хотел? Остановился Федор, как дорогу пере-ходил, огляделся кругом — никого. Витька? Ну убей он меня. Так Татьяна сразу в город уедет, а он куда от детей. Танька? Зачем ей меня убивать — она захочет, сама уедет в город к своим е... Ага! Значит, «прицеп» Сашка. Маленький гаденыш незаметно подкрался и толкнул. Быстро промелькнули все эти мысли в голове, в мгновение.

Вбежал Федор в избу мокрый, злой, бешеный — пена изо рта:

— Сашка где? Убью гаденыша!

И в шифоньер — за ружьем.

Глядя на своих соседей-охотников, ружье себе купил в городе Федор, тульскую двустволку двенадцатого калибра. Как начинал пить Федор, Татьяна от греха подальше прятала ружье.

Не найди оружие, выбежал во двор разъяренный «утопленник», а там уже Сашка, он от Кольки возвращался. Сначала Сашка испугался, отско-чил от отчима, а потом схватил вилы наперевес — и на Федора:

— Не подходи, ублюдок! Глаза выколю!

И то ли для острастки, то ли всерьез стал выпады делать вилами и прямо в глаза отчиму метит. Татьяна из дома во двор выбежала, схвати-ла за воротник Федора, дернула назад. Упал Федор, больно о крыльцо ударился и ползком — в избу.

— Напоролся! Сам виноватый, а на мальчишку сваливаешь!

На печку залез Федор греться и сушиться. А Сашка во дворе стоит, трясет его всего — в дом не заходит.

— Ненавижу «офицера»! Все равно убью его!

И поняла Татьяна — уезжать надо из села.

Как учебный год закончился, опустела изба Федора. Уехала Татьяна назад в город и сыновей с собой увезла. Федор с виду вроде и не пережи-вал, а вот для бабы Любы после отъезда внучка жизнь, можно сказать, закончилась.

Сначала в город уехала грузовая машина, увезла утварь домашнюю, одежду и всякое другое: лыжи, велосипед, санки детские — целый кузов добра нагрузили. А потом приехала легковушка — автомобиль «Победа». Это родной брат Татьяны приехал за ней и за ее сыновьями. Утром было все собрано в дорогу. Баба Люба, сама не своя, с заплаканными глазами, как пьяная шла прощаться с Лешкой.

Обняла его, прижала к себе:

— Не забывай бабу Любу! Не забудешь? А, сынок?..

— Не забуду, — буркнул Лешка и шмыгнул в машину на мягкое сиденье. И уж на бабу Любу не глядел, а стал рассматривать рычажки всякие, кнопки и педали в необычной, красивой машине — таких в селе сроду не было.

И уехала «Победа». Долго смотрела баба Люба на столб серой пыли, что рвался из-под гладких шин и делал невидимой машину. И снова откуда-то брались слезы у бабушки.

11

Разом все изменилось в жизни Чичкиных: и Федора, и бабы Любы с дедом Алексеем. К середине того лета не узнать было дома Федора. Как обычно, после зимы, с наступлением тепла, замазывал глиной Федор стены дома, ровнял, где были ямки и неровности, а потом стены белил. А в то лето ничего не стал делать Федор, и дом стоял серый, облезлый, с потрескавшейся краской на наличниках. Заваливаться дом стал в сторону оврага, хотя когда дом строили, венцы строго по уровню клали. Палисадник травой и крапивой зарос — прежде там Татьяна цветы сажала. Упал заборчик палисадника — Федор штакетник за дом перебросал, на дрова. Только одна береза осталась перед домом. И как уж в тот год выросла, как зеленела крупным и светлым листом!

А Баба Люба сразу сдала. Вниз согнуло ее почти напополам. Любимого внука увезли от нее насовсем, а это уже не жизнь. Дед Алексей вроде крепился, а как сядет на завалинке в тенечке самосад курить — глаза мокрые.

— Ты что, плачешь? — с надеждой спрашивала его баба Люба, мол, слава богу, и дед со мной беду делит.

Отвернет от нее лицо дед Алексей:

— Табак, — скажет, — дюже злой.

Надька сначала обрадовалась было отъезду Татьяны, да потом поняла — зря обрадовалась. Все равно потеряла она Виктора. Окончательно и бесповоротно. И было плохо, а стало еще хуже. Угрюмым зверем становился Виктор. Нет, он Надьку не бил, не скандалил, домашнюю утварь какую, по примеру некоторых мужиков неумных, не крушил и не жег. Но лучше бы он все это проделывал, а потом, глядишь, и повинился бы и приласкал бы ее хорошо или, прости господи, хорошенько. Нет! Смотрит даже не врагом на Надьку, а еще страшнее. А еще страшнее, что порой вообще смотрит на нее и не видит, будто и нет ее на белом свете, будто уж только тень она призрачная.

То в работу ударится Виктор до изнеможения полного, а то пить горькую начнет; пьет и не пьянеет, курит и в одну точку глядит часами. В речке купаться перестал. Все курит. Похудел, почернел...

И стали жить по обе стороны оврага два несчастных мужика, два одиноких: один по правде одинокий, другой — по сути.

Так прошел год. На следующее лето, как закончили в селе посевную, заставила баба Люба Федора в город ехать — назад Татьяну звать. Заранее было известно — никудышняя это затея.

Не поехала Татьяна в деревню.

Федор как увидел ее — остолбенел: за год сильно изменилась Татьяна. Еще краше стала: холеная, ногти крашеные, на тонких белых пальцах перстни золотые. А что был у нее любовник — важный чиновник городской, — не знал того Федор.

Какая там деревня!

Но Лешку на месяц в гости Федор все же привез. Вот эта радость и скосила, наверное, бабу Любу. Через год, в конце мая, умерла она. Сильно ждала новой встречи с внуком, да, видать, переждала. Как хоронили покойницу, дед Алексей велел и себе гроб заранее сделать, и место на кладбище рядом с женой оставить. И зимой, в ветряные декабрьские холода, тоже отдал богу душу.

— Холодный, наверное, был человек, — рассуждали мужики, копая могилу, — вон и сына бледного, недоделанного народил.

Похоронил отца Федор, и прибавилась забота — дом родительский надо продавать. А кому? Кому времени стали люди из села уезжать. Нашлись все же покупатели. Из местных. Странная семейная пара. Мужик Федору ровесник. Молчаливый, невзрачный, невысокий мужичок с выразительными большими голубыми глазами. Жена его — молодая толстая женщина, вся какая-то круглая, необъемная. Толстые, красные щеки, маленький рот, маленький курносый носик и маленькие же, глубоко посаженные глазки. И все лицо ее выражало покорность и испуг. Она недавно вышла из тюрьмы: пять лет назад родила по весне девочку от какого-то командировочного, и в этот же день живую малышку закопала в коровнике. (Дело было ранней весной — на улице земля мерзлая еще была). Как вышла из тюрьмы — взял ее в жены невзрачный тракторист. От него, как и от Федора, жена недавно ушла. Тоже из села уехала в город и сына с собой увезла.

Очень не хотел Федор им дом продавать — не лежала душа. Что-то нехорошее чудилось ему во всех этих совпадениях. Но покупателей больше не было — так и продал.

А совпадения такие, что зимой, еще до смерти своих стариков, во второй раз женился Федор. Он так рассуждал: какая никакая баба в доме нужна — это раз, может, за новыми семейными делами Татьяна забудется — это два. А то она снится по ночам стала: то девицей целомудренной, то распутной, желанной до животного трепета женщиной. Под утро в поту и в столбняке просыпался Федор.

Да и по хозяйству — что он, баба, полы мыть и кастрюли чистить?

Любку взял, доярку с фермы, ту самую, что давным-давно ему в невесты прочили. Некрасивая Любка — с плоским лицом и маленьким курносом носом, губы узкие, сухие, все в трещинках. Если сзади смотреть, на мужика похожа, и походка вразвалку: или плоскостопие сильное, или еще какой дефект с ногами. Немного, вроде, «не в себе» была Любка или уж слишком с простецой. Ко всему прочему, Любка сильно картавила и была глуховата от рождения. Жила она с матерью, отец их давно оставил и жил где-то далеко. Вот такую «рокировочку» произвел Федор. А Любка свое давнее нежелание связать жизнь с Федором вроде и забыла.

Но зато работающая была Любка — страсть! Случись, Федор запыет — всю мужицкую работу делала. Испугала один раз соседского мальчишку Кольку. Прибежала как-то Колькиного деда просить поросенка опалить, а у самой руки по локоть в крови — всякое подумаешь.

— Федька, — говорит, — встать не может — выпивший. Уж помогите, за ради бога.

И то было хорошо Федору, что угождала Любка сначала ему и что никто на такую «красоту» не позарится. Но ни работа, ни угождение мужу не принесли радость в дом Федора. Все и вокруг его дома, и внутри должно рушиться, как будто чья-то рука водила этими разрушениями. Словно перекопались сараи, дом все сильнее в землю уходил и заваливался в сторону оврага, крапива и лопухи из оврага почти к дому подступали. Только береза все росла и крупными листьями зеленела — вытянулась выше крыши. Федор ей не раз нижние сучья отпиливал, чтобы свет в окна не заслоняли. И в последнее время все чаще, в летнюю пору, когда тепло было, сидел на бревнышке под березой. Молча курил, смотрел на пруд, на лес, что за прудом на горах зеленел. О чем он думал? Может, думал о том, что хорошо жить на этом свете: на пруд зеркально-синий смотреть, на лес и горы. Рядышком, через дорогу, огород его прямо к пруду подходит, к воде, и в любой год огородины урождается видимо-невидимо — в мае из погреба, считай, половину урожая выбрасывает, а все жалуемся — плохо живем, вон каких негров худых в кино показывают.

А может, и ни о чем не думал Федор. Ведь это счастье — ни о чем не думать.

Как бабу Любу похоронили, в конце лета приезжал все же на неделю к отцу Лешка. Бабы соседские, с чьими ребятишками он играл, допытывали:

— Мать-то с кем сошлась?

И Лешка на ходу, чтобы не застрять в теме, отвечал:

— Так, ходит к ней один.

— А мужик-то красивый?

— Не знаю. Рыжий и здоровый.

И убегал подальше от этих разговоров. Как и отец, с открытым ртом ходил Лешка, а по-житейски много понимал. Ничего не сказал Лешка, что Кузин к матери приезжал, что единоутробный брат Сашка больше у родителей Татьяны живет. Много чего не говорил Лешка.

На следующее лето не приехал Лешка к отцу.

Если вернуть повествование назад, сказать надо, что после отъезда Татьяны пить стал Федор беспробудно. Колхоз не завод, прощали Федору прогулы и отсутствие трудодней, жалели, зная его житейские дела. Село, старое русское село — что большая семья.

После смерти родителей все чаще стал о смысле жизни задумываться Федор. Те люди, по чьим законам и правилам он жил, либо умерли, как родители, либо уехали, как Татьяна. А как жить без приказов и послушаний, кто его, пьяного, будет настырно корить, чтобы он застыдился? Любку-то он всерьез не принимал.

И вроде как сник Федор. Но это только с виду. Внутри стал потихоньку ворочаться в нем другой человек. Суждено ли будет Федору переродиться? Вылезет ли этот новый человек наружу или так и умрет внутри вместе с Федором?

Понемногу, чувствуя нарастающую слабинку Федора, Любка стала брать семейные вожжи в свои руки. Бывало теперь, если запыет Федор,

идет она по улице и громко так с собой разговаривает, чтобы все слышали:

— Офицер! Какой он офицер?! По бабам он офицер!

Вот это «офицер по бабам» очень потешало селян: вон какую бабу — Любку — он себе отхватил! И если раньше мужики над ним смеялись, мол, и как с тобой Татьяна спит? То теперь смеялись, как ты с Любкой спишь?!

Стала прибирать власть семейную в свои руки Любка. И то, что Федор к рюмке прикладывался, было на руку ей — есть за что ругать, корить, унижать, а значит, себя возвеличивать. Покрикивать стала на Федора. Все жестче и жестче.

И это ей нравилось. Хозяйкой становилась. И это она — Любка, которую не то что бабой — человеком не считали. Чувствовалось, что нравится ей ее теперешняя жизнь, что счастлива она. И пусть приземленное это счастье, но свое. А за счастье, как известно, бороться надо, а как поймашь его — не упускать.

Стала Любка настойчиво упрекать Федора, что он за хозяйством не следит: все гниет и рушится. Это задевало Федора — все чичкинские мужики были аккуратными и основательными в хозяйстве. Вот с этого и началось. Началось и произошло непоправимое.

13

Решило правление колхоза ферму отремонтировать. В начале лета стройматериалы разные привезли, и пошла работа. Председатель велел до сенокоса завершить ремонт. А фермой к этому времени заведовала Надька. В личной жизни у нее крах. И стала она всю свою неумную энергию на благо общества использовать, про карьеру не забывая. Заведующая фермой, депутат сельского Совета, в президиумах сидит; парторг колхоза уговаривал ее в партию вступить.

— Раньше, — говорит, — была вера в бога, а теперь — в коммунизм.

— Так это что же, икону, что ли, с божницы убрать?

— Надо бы! А на божницу программу КПСС поставить, — смеялся парторг, а про себя думал — прости меня, господи!

Некоторые селяне уже сенокосить начали — закончили ремонт фермы. Как это часто бывает, кое-что осталось после ремонта. Доски, к примеру, хорошие остались: длинные, гладко-струганые — сухая сосна.

— Мне бы четыре доски, двери новые сделать. А, Афанасьич? — Рядом с этими досками стоял Федор, пальцами на них показывал, а председатель мимо на тарантасе ехал — остановился по каким-то делам и рядом ходил.

— Не знаю. Поглядим.

— Ведь все равно растащат.

Ничего не сказал председатель, сел в тарантас и уехал.

— Все равно растащат, — рассудил Федор и в тот же вечер, как доярки ушли после вечерней дойки, бросил на телегу четыре доски и увез к себе, за сарай сложил.

Утром смотрит через овраг Надька и видит — что-то светлое за темным соседским сараем лежит. Тут же сообразила — с колхозного двора Федька доски увез. А ведь разрешения никто не спрашивал, Афанасьич команду тоже не давал. Значит, обрадовалась Надька, воровство!

Чувствовала ли себя виноватой Надька, что нехорошее замыслила и извести со света захотела Федора? Нет, не чувствовала, а только еще силь-

нее его ненавидела и презирала. Это надо же, вошь серая, размазня никчемная! Ну ладно, в офицерском кителе красовался, а зачем привез красотку в деревню, тоже, как и кителем, хотел людей удивить? А у Надьки жизнь крахом. Вся жизнь! Единственная! Молись, не молись — другой не будет!

Надька — такая баба: что задумает, обязательно до конца доведет.

Не пошла Надька к Федору, не сказала ему: так, мол, и так, сосед, отвези от греха подальше эти доски назад на колхозный двор. Не стала ничего говорить о случившемся и председателю. А в это же утро позвонила сразу в райотдел милиции: такой-то совершил кражу колхозного имущества. И это в период развернутого строительства коммунизма!

В обед зашла к Федору секретарша из сельсовета:

— Завтра езжай в район — в милицию вызывают.

— Зачем это я им понадобился?

— За расхищение колхозного добра. Сигнал поступил от заведующей фермой. Доски ты своровал?

Злость и гордость взыграли вдруг в захудалом мужичке:

— Да я кровь проливал! За Родину, за Сталина! Я — лейтенант! Что ж меня, из-за трех досок трепать будете? Никуда я не поеду!

— Ну, значит, приедет завтра милиционер, заберет. Не шути. Дело уголовное — тюрьма.

— Тюрьма! Вон ты куда! А вот этого не хочешь, — с пеной у рта кричал Федор, показывая дулю секретарше, — а Надьку, стерву, порешу!

Зашел в избу Федор, успокоиться не может. Как же так — всю жизнь слушался и не перечил, и «выкрутасов» никаких. Пьянка! Но разве это грех. В Библии не прописано, что пьянка — грех. Это, можно сказать, сверхмерная радость, которая действует на нервы тем, кто так же радоваться не умеет. Или не умеет так же задуматься глубоко, когда радость эта свои пределы превзойдет.

Что делать? Про тюремные порядки Володька-сосед рассказывал — он три раза сидел. Нет! Тюрьма — это не вариант для Федора.

Умереть! Кому сейчас он нужен? Кто его любит? Родители умерли, Лешка этот год не приезжал и наследующий год не приедет. Любку он за человека не считал — так, рабочая скотина. А остальные что? Считают его никчемным, бесхребетником, «крапленным» офицером. Думал он почет и уважение получить от земляков, как офицером с войны вернулся, — не признали его офицером: крапленные, говорили, у тебя звездочки на погонах. Красивую бабу привез — завидовать стали, увели бабу. Где справедливость, где правда? Сдавило грудь, как обручем железным, — воздуху не хватает, не вздохнуть. Отчего все так, где справедливость? Опять затрепетала жилка-мысль в глубоко запрятанной косточке.

— Узнаете еще меня!

Зашел в избу Федор, налил стакан водки, выпил и... упали тяжелые обручи, загрели по полу, по кубовым доскам. Легче стало на душе. И вспомнил Федор, как весной в овраге, гремящим от вешних вод, оказался, и подумал: не зря меня кто-то толкнул в водоворот и неспроста живой я выплыл! Не понял я тогда знака свыше — новую жизнь надо было начинать, а я, как дурак, к пасынку прицепился. Надо было, а не начал...

А чего ждал? Татьяна вон сама все решила: забрала мальчишек и в город укатила. А я где был? Первому надо было сказать: так, мол, и так, не выходит у нас с тобой, Татьяна, жизнь совместная. Всем ты мне любя, но раз я тебя не устраиваю — давай по-хорошему расстанемся. И про Леш-

ку решим — пусть на каникулах у нас в селе живет. Все ж и я, и родители мои родная кровь ему. Нет! Смолчал. Вот к чему такие молчанки приводят.

Вторую бутылку «белой» почал Федор. Все новые вопросы всплывали, теснились в голове, в душе. Вроде вот он, ответ, — и нет его. Путаться все началось в голове.

Достал Федор из шкафа ружье — двенадцатый калибр. «Зачем тебе такая пушка? — говорили ему деревенские мужики, — у всех шестнадцатый. Что, мамонта хочешь пристрелить?» Взял шомпол, стал стволы чистить. На свет смотрел Федор сквозь дуло — сверкает вычищенный до блеска ствол. Пачку патронов достал: крупная дробь (картечь) — на кабана.

Вот и вторая бутылка уже наполовину пуста.

После обеда нагружать стало небо, душно было, на юго-востоке далеко, но гулко ухало. А потом и вовсе рядом затрещали громины, огненные молнии из темноты неба стали терзать землю. Ветер подул силы небывалой. Пыль со всех сторон поднялась, и как большие, невообразимо большие резиновые мешки порвались тучи и опрокинули на землю, на село воду. За метр ничего не видно — такой дождь сильный стегал.

И уж хмельной и от водки, и от грома и дождя побежал вдруг Федор к пруду и с мосток, где Витька Кузин раньше нырял, прыгнул в воду «солдатиком». А дождь все сильнее. И не понять уже, где вода реки, а где вода дождя — все смешалось, и в этом смешении вод земли и вод неба в одежде плавал и нырял Федор. Кричал что-то, смеялся и плакал. И то жизни хотел — счастливой и радостной, а то молил небо, чтобы молния в него ударила и убила сразу и не больно.

И, словно читая мысли его, бросили небеса в него молнию. Рядом вспыхнула ослепительно-белая лента, страшной силы гром заложил уши. Зашипела вода, как будто раскаленный металлический прут в нее вошел. Обезумел Федор, поднял голову к небу и, захлебываясь струями дождя, стал кричать, срывая голос:

— Здесь он я! Зде-е-е-сь!!!

Только дальше на запад ушли молнии. Стали они сверкать над пшеничным полем, а потом за дальним лесом. Дождь понемногу ослаб, выдохся.

Вернулся домой Федор обессиленный. Счастливый и... опустошенный. Как будто выпотрошили из тела прежние его мысли, душу обновили.

Любка вся вымокшая пришла — корову встречала с пастбища, — как увидела его пьяного, ругать начала. Не обращая внимания на ругань ее, улегся Федор спать в сенах на лежанке, не позабыв, хоть и пьяный был, надеть на себя сухое исподнее белье.

И привиделся Федору первый сон. Первый, потому что увидит он в эту же ночь и другой сон.

...Приходит Федор с войны домой, входит в родительский дом, а в передней комнате уже стол накрыт — все его ждут. А все — это непонятно кто, какие-то бледные тени — не то люди, не то призраки — на длинных лавках сидят. А во главе стола его родители.

— Иди к нам! Иди к нам сынок! — ласково и нежно зовет его мамака. Она вся в белом, и платок на голове белый. А улыбка у нее, заметил Фе-

двор, странная. Вроде нежная и теплая, а холодком веет от этой улыбки, и губы у мамаки сухие, иссиня-белые. Подошел Федор к отцу с матерью, обнял их, расплакался от радости встречи.

— Не плачь, сынок. Теперь ты уж с нами будешь, и станет тебе с нами покойно и хорошо.

И крепко держат его в своих объятиях мать с отцом — не отпускают. Он и рад бы вырваться, да не хотел своих родителей обижать — так и остался в их объятиях.

Но как туманом все заволочло, как водой смылась эта картинка сна, или как, положим, местный кинемеханик начинает резкость на экране наводит — сначала все размыто, а потом картинка на экране приобретает натуральный вид. И как снова установилась резкость, новая картинка сна появилась. Увидел Федор — сидит среди гостей Татьяна. Выделяется своей недеревенской красотой: по-городскому одета — красное платье приталенное, сама яркая, желанная. Встала она из-за стола, и Федор к ней подошел. На виду у всех обнимать стал. Груды у Татьяны большие, упругие, в ордена и медали его тычутся — тесно им в платье.

Она как будто невеста его, всю войну его ждала, верность ему хранила. Поцеловал Федор Татьяну в губы. Задохнулась Татьяна, жарко задышала ему в ухо:

— Уж как ждала я тебя, Федя! Как ждала! Сегодня, как стемнеет, узнаешь, как ждала!

А сама все теснее к нему прижимается, и неумогу ему эту тесноту уже терпеть. Сказал он ей тоже на ухо:

— Чего нам ночи дожидаться! Ты иди, баньку истопи. Очень я баньку люблю, Таня! Очень!

— Сейчас! Прямо сейчас и пойду! А ты часа через полтора приходи. Ждать тебя я там буду с большим нетерпением!

Пришел Федор в баню, а из вытяжного окошка жарком в предбанник дует. Хорошо натоплена баня. На лавке, в предбаннике, одежда Татьянина лежит: платье красное, чулки фильдеперсовы. Представил Федор, что за дверь Татьяна находится и в каком виде она распрекрасно-бесстыжем, сразу и войну, и родителей своих забыл. Быстро донага разделся и из предбанника в жаркой бане очутился. А там, на лавке, не Татьяна голая, желанная до невозможности терпения, находится, а Надька Лямкина сидит. В куфайке и в кирзовых сапогах с разрезанными голенищами. Угли в каменке красно-белые, горячее горячего. Свет от них падает на лицо Надькино, и оттого лицо у нее пунцово-красное. А так вроде и не жарко ей. Сидит Надька на лавке, смотрит зло — руки в бока уперла — и вдруг как заорет:

— А! Пришел, воруяга!

И сразу сник Федор. Сразу доски струганные вспомнил. Белое его тело стало беззащитным и жалким, и словно не Надька, а все человечество смотрит на наготу его жалкую и презирает его.

— Жариться тебе в аду на таких же углях! — заорала Надька.

— И никто тебе воды не подаст — гореть и сохнуть будешь!

— Вечна-а-а-а-а!!!

С этими словами зачерпнула Надька из кадки воды — на каменку плеснула.

Обдало Федора сухим, горячим паром — все нутро выжгло. Бросился Федор вон из бани, да за косяк дверной так головой задел, что на колени упал, закричал от боли, застонал.

...Проснулся Федор — все внутри огнем пылает, голова болит, как будто не по ней бьют, а внутри головы сидят чертики и изнутри зубилами череп его долбят. Поднялся Федор с лежанки, подошел к ведру с водой — оно всегда в сенях для питья стояло, — зачерпнул кружкой воду, сделал два глотка — противная теплая вода, да еще и кружку от молока Любка не отмыла.

Захотел Федор испытать холодной ключевой воды, чтобы уж совсем потушить нутряной пожар. А за водой надо либо на свой огород идти (там родничок есть), либо к общему колодцу. Решил к колодцу идти — и дорога пошире, и ведром спокойно можно воду черпать, а у себя в роднике надо еще тину убирать, а где там в темноте.

Пошел к колодцу. Была глубокая тихая летняя ночь. Такие тихие ночи летом только в деревнях и селах бывают. В городе ведь шум всегда, турбины какие на заводах постоянно крутятся-шумят, машины по улицам и днем и ночью едут. В лесу и в степи — шорох птиц и крики зверей. А здесь, в селе, тихо: ни турбин, ни зверья дикого. Изредка, далеко-далеко, на другом конце села, залает собака — и снова тишина. И тьмы беспросветной не бывает в это время: только заря вечерняя потухнет — глядишь, утренняя занимается.

Подошел Федор к колодцу, наклонился через сруб, чтобы воды зачерпнуть в ведро, и... замер от страха и удивления: сидит в колодце родственник его — начальник штаба стрелкового полка, — толстым пальцем грозит и говорит строго:

— Ты, Феденька, человек недалекий, можно сказать, глупый, к тому же пьяница горький. А раз ни ума, ни воли нет — угождай начальству: председателю колхоза, парторгу, бригадиру. Жену уважай, слушайся ее. Брата жены тоже слушай — он человек городской, ушлый, не то, что ты — тюфяк деревенский. И чтобы никаких...

Не дослушал Федор наставлений начальника штаба. Схватил огромный камень (камни рядом с колодцем лежали, чтобы, если слякоть, по ним ходить) и бухнул его со всего размаху в колодец. И послышался стон из колодца. Весь холодными мурашками покрылся Федор. Переборол страх, в колодец заглянул и видит: со дна колодца пузыри воздушные огромные пошли.

— Ну и черт с тобой, сука штабная! Я, может, и глупый, а ты — сволочь последняя. Сколько машин с добром немецким к себе домой угнал? А ведь это преступление, мародерство. Тебе ли меня учить.

Черпать воду из колодца забоялся Федор. Из ручья, что вытекал из колодца, зачерпнул четверть ведра и домой побежал.

Как к дому подошел, посмотрел Федор в ту сторону, где колодец находился, — тихо все по-прежнему. Еще чуть — и утренная заря займется. Поднял к небу голову Федор, а с неба звезды падают, чертят короткими светлыми дугами путь свой. А далеко на востоке большая яркая звезда горит.

«А ведь и она когда-нибудь тоже упадет, — рассуждал Федор. — И упадет, когда захочет. Никто ей не указ: ни начальник штаба, ни председатель, ни даже городской ушлый брат моей бывшей жены. Может, бог указ?!»

— А что я? — вслух сказал Федор. — Что?! Даже падать — и то по приказу?! Нет! — уже уверенно и зло усмехнулся Федор. — Шалишь!

Попил холодной чистой воды, поставил ведро у лежанки и снова уснул.

И привиделся ему в эту же ночь второй сон.

...Косит он траву на том самом лугу, где они с мамакой зайчонка видели. Трава высокая, сочная — хорошо идет коса. Вдруг из-под косы что-то серое выкатилось с тонким визгом. Глядит Федор, и страшно ему стало, и жалко — он зайцу все четыре ноги косой срезал.

Застонал заяц:

— Что же ты со мной сделал? Как я теперь без ног? Меня теперь всякий хищник в первый же день, да что там день — за час загрызет и съест.

Пожалел Федор зайца. Положил его в сумку, домой к себе отнес. Лапки зажили, да что толку-то, не отрастут они, и не бегать больше зайцу быстро — по-заячьи. Оставил Федор зайца жить у себя. Летом и осенью заяц в клетке жил, во дворе поставил ее Федор, а зимой, чтобы тепло зайцу было, перенес ее в сарай, там, где корова содержалась. Весной, как только потеплело, вынес Федор клетку снова во двор. Увидел заяц солнышко и травку зеленую и затосковал — стал в лес проситься:

— Отнеси ты меня, Федор, снова в лес, на ту же поляну. Нету больше мочи так в неволе жить.

— Так ведь съедят же тебя там волки. Как ты без ног?

— Пусть съедят, зато я хоть денечек, а на свободе побуду, зайцем себя почувствую.

Понес Федор зайца в лес на ту же поляну. А сам на всякий случай ружье взял. Выпустил зайца, а тот радуется: прыг-прыг своими культяпками, головой во все стороны вертит, носом в травку тычет — нюхает и вроде как улыбается. Федор встал за куст — наблюдает. Откуда ни возьмись — волк! Бежит к зайцу, ухмыляется в злом нетерпении съесть его. Вскинул Федор ружье. Бац! И кубарем полетел волк, замертво лежит. Заяц вздрогнул, головку поднял, а потом снова по травке кандылять стал. Но видит Федор: в лесу чуть не за каждым деревом волки стоят, ждут, когда он с ружьем уйдет, а они зайца поймают и съедят. И не перестреляешь всех волков — патронов не хватит. Представил Федор, как будут волки мучить зайца, взял и сам зайца пристрелил — быстро и не больно. Бац! Подпрыгнул заяц над травой, удивленными глазами посмотрел на Федора и упал в траву.

Волки вышли из-за деревьев и нехотя, всем видом показывая, что, мол, тут делать им уже нечего, не боясь Федора, стали удаляться в лес.

...Проснулся Федор весь в поту. На улице пастухи кнутами хлопают. Бац! Бац! Любка корову и овец выгоняет в стадо.

Холодный пот прошиб Федора:

«А ведь это я себя убил. Заяц — это и есть я! Тот свободу потерял, потому что без ног остался. А я что потерял? Когда? Почему живу без свободы. Все от кого-то завишу: от начальника штаба полка, от бригадира, от родителей, от жен... Заяц за час свободы жизнь свою отдал. А что я? Я только пьяный и был свободен: и в мыслях, и в поступках. А что с пьяного возьмешь — пьяный что дурак. Только пьяный хотел я заново родиться. А невозможно это. А переродиться возможно? А может, я уже переродился, может, я уже другой стал?!»

Потрогал рукой голову свою, плечи, живот:

— Действительно — другой!

Поднял ведро Федор, попил еще воды — живой, ключевой — и уснул сном спокойного, усталого человека.

Проснулся поздно. Любки дома не было.

— После утренней дойки, наверно, сено ворошить ушла, чтобы не

сгнило, — подумал Федор. А может, и не подумал ничего: нет и нет Любки — и слава богу.

Солнце всюду светило, голубело небо, светлым зеркалом смотрел на небо пруд. После дождя дышалось так легко, что хотелось весь воздух в себя вобрать. Все вроде бы предвещало хороший день. Дорога от легкого теплого ветерка да от жаркого солнышка почти просохла — время к полудню шло.

— Ух ты, голова-то как болит, — застонал Федор, — это мы сейчас исправим.

Взял недопитую вечером бутылку «белой», выпил, корку хлеба белого понюхал — порядок.

— А эта сельсоветская баба вчера мне все наврала. Кому я нужен с тремя досками? Сейчас схожу за Гнедым, отвезу древесину — пусть подавятся этими досками!

И только собрался за лошадью Федор идти, уздечку, вожжи взял, слышит — мотоцикл едет, да шумит не как все сельские трещотки, «козлы» и «ковровцы», а медленно у движка поршня ходит, чавкает, как пахташка, когда масло пахтают — наверное, большой мотоцикл едет. Поглядел Федор вдоль порядка села, и точно — едет милиционер на большом желтом мотоцикле с люлькой. Очень осерчал на такое несоответствие его вчерашних спасительных мыслей и жестокой сегодняшней действительности Федор. Забежал в избу, быстро надел китель офицерский, на ноги обул сапоги яловые. Взял в руки ружье, заложил два патрона двенадцатый калибр, крупная дробь на кабана.

«Живым не дамся! Бог не для того вчера меня помиловал, чтобы я как серый зайчонок на убой поехал! Не для того я переродился, чтобы меня, офицера, да за уздцы!»

Думал Федор увидеть здорового, толстого и наглого милиционера, похожего на родственника — начальника штаба, а приехал мальчишка — сущий пустяк: молодой, худой, наверное, сразу после армии устроился в милицию. Приехал на старом, желтого цвета мотоцикле «Урал». Послали его с заданием: поедешь в такую-то деревню, привезешь такого-то мужика на следствии — этот мужик четыре доски украл у колхоза. Мы коммунизм должны построить за двадцать лет, а какой-то кулацкий выродок нам всю статистику портит. Ты построже там с ним. Примерно такую устную инструкцию получил молодой участковый милиционер.

Милиционера звали Петя Воробьев, и работал он в органах всего вторую неделю. Это было его первое серьезное задание, и представлялось оно Пете легким и приятным. Все будет так, думал Петя: он строго скажет мужику:

— Поехали, мужик, в милицию!

Мужик наденет серый пиджак, на голову синюю фуражку, сядет в коляску его мотоцикла, и поедут они спокойно мимо реки, через лес, потом мимо другой реки и еще через один лес — к обеду приедут в райцентр. Вот так представлял себе сегодняшний рабочий день Петя Воробьев.

Это было первое серьезное задание для рядового милиционера Петра Воробьева. И задание это оказалось для него последним. Нет! С Петей ничего трагического не случилось — просто на следующий день он написал заявление об увольнении и больше никогда не помышлял о службе в милиции.

С мужиком, которого надо было доставить в райотдел милиции, вышло все не так, как представлял себе Петя Воробьев. Совсем даже не так!

В правлении колхоза сказали, как найти нужный дом, — береза рядышком с домом растет.

Только был заглушен движок мотоцикла и Петя слез с сиденья, как из-за угла дома вышел мужик. Вид этого человека сразу вывел Петю из душевного равновесия, сделал его безвольным и растерянным. Мужик был одет в чистенький военный китель старого образца — на плечах офицерские погоны, на груди медали; китель распахнут, и под кителем видна грязная голубая майка навывпуск. Вместо брюк — кальсоны, видимо, сильно севшие после стирки: они трогательно и беззащитно обтягивали длинные тощие ноги. Эти ноги, как палки, болтались в голенищах черных блестящих сапог. И самое главное, в руках человек держал наперевес двуствольное ружье с красивым темно-вишневым прикладом. Матово-серые металлические стволы угрожающе и торжественно сверкали на солнце. Человек был пьян. Однако, несмотря на всю свою нетрезвость, мужик легким движением рук вскинул ружье, приставил приклад к плечу и стал целиться в Петю. Два ствола темными круглыми бездонными колодцами глядели на Петю. В глубине этих колодцев были огонь и смерть.

Петя Воробьев еще ничего и сказать не успел — мужик повелительно, с ноткой презрения крикнул:

— Стой! Руки вверх! Стрелять буду!

— Эй! Ты че, мужик! Не балуй! — рука Пети стала судорожно искать кобуру пистолета.

Федор ожидал увидеть наглое и отвратительное толстого милиционера и в порыве гнева готов был уничтожить гада. А перед ним стоял худой и испуганный Петя Воробьев — совсем мальчишка. Как в такого стрелять? (Это потом следователи запишут у себя в бумагах — стрелял в милиционера и промахнулся. Не стрелял в Петю Федор).

Раздался выстрел. Он гулко ухнул и эхом раскатился по порядку села. Крупная дробь (на кабана) ударила в мотоцикл — Федор метил в фару, — осколки стекла от фары брызгами разлетелись в разные стороны.

Петя Воробьев, обеими руками натягивая фуражку на уши, пригибаясь к земле, на полусогнутых ногах побежал в сторону правления колхоза. Стрелять в мужика он не смог: как же так взять и убить человека. Да и не успел бы он достать пистолет.

«Надо позвонить начальству, инструктаж получить — дело-то вон как обернулось», — заполошно подумал Петя, когда, очухавшись, добежал до правления.

В правлении был, к Петинуму счастью, председатель. Афанасьич не стал слушать, какой инструктаж получил Петя от начальников по телефону, а как бывший фронтовой разведчик дал указание Пете:

— Ты задами иди, а я улицей пойду. Не бойся — он так, пугает. Знаю я его — не думаю, что в человека он стрелять будет.

Еще не отошли от правления — раздался второй выстрел: резкий, с каким-то дробным треском.

Первым около дома Федора оказался Афанасьич. То, что он увидел, ужаснуло его. На березе, на большом суку, обращенном в улицу, висел Федор. Под его ногами валялось сухое бревнышко. Он повесился на вожжах, которые приготовил для упряжки Гнедого. Висел он в офицерском кителе, на груди медали и орден. Открытые глаза его смотрели на пруд, на лес за прудом, на небо над лесом — смотрели, но ничего уже не видели.

И только Афанасьич подумал, а в кого же Федор второй раз стрелял, как услышал шум и крики на дворе у Кузиных. Побежали с Петей туда — у сарая вся в крови лежит Надька и тоже уже не дышит. Вот он — второй выстрел.

После обеда следователи из района приезжали. Особо не разбирались. Дело ясное: пьяный Федор сначала в милиционера стрелял — не попал, потом Надьку убил за то, что его «заложила», ну а затем и сам повесился. И свидетелей не было. Сенокос. Кой-какие старики дома были, но ничего толком рассказать не могли: все выстрелы слышали — вот и все. Надькино тело на экспертизу в райцентр увезли.

Из досок, что Федор увез от фермы, гроб ему сделали, и на следующий день похоронили. В гробу Федор лежал в офицерской одежде. Его сосед и собутыльник Володька на кладбище из ружья стрельнул: так, сказал, положено, если боевого офицера хоронят. Молча и негласно проклятие «крапленого офицера» было снято селянами с Федора. Плакать над могилой было некому. Любка для порядка глаза помочила, да потом все больше как-то испуганно суетилась. Наверное, боялась, как бы не опростоволоситься с поминальным столом.

Надьку хоронили через день. Виктор на похоронах был напряжен и бледен. В лоб покойную поцеловал и тихо сказал, кто рядом стоял — слышали:

— Прости. Виноват я перед тобой.

Ну, так почти все говорят.

Можно было бы здесь и окончить историю, да разные ниточки и веревочки тянутся из прошлого. Случайно заденешь их, и опять бывшее всплывает, как ночью налим из глубокого омута.

ЭПИЛОГ

Через день после трагического случая снова приезжал следователь из района. Дробь, которую обнаружили в Надькином теле, была мелкая. У Федора таких патронов не нашли. Следовательно, Надьку могли застрелить из другого ружья. Но следователь так ничего и не выяснил. Ружей в селе было раз-два и обчелся. И у всех владельцев ружей стопроцентное алиби. Дело закрыли.

А у Кольки несколько дней спустя разговор вышел с бабой Нюрой, что напротив Федора жила, через дорогу. Спросил Колька бабу: что видела, что слышала в тот злополучный день?

Говорит, что слышала выстрел, когда на огороде была, грядки пола-ла, подумала, может, балуется кто. Потом стала подниматься с огорода, видит — висит на березе Федор. И тут еще один выстрел грянул.

— Погоди, баба Нюра, — изумился Колька, — а ты ничего не путаешь? Может, ты второй выстрел еще как на огороде была слышала?

— Да нет! Федор висел, а потом опять стрельнули.

Кольке четырнадцатый год шел. Много книжек Колька читал, и детективы в том числе. И задумался Колька — есть нестыковки в этом деле. От правления до дома Федора ходьбы минут пять — не больше. Как же тогда Федор успел повеситься так быстро. Ведь если он стрелял в Надьку, ему надо было после расправы этой домой вернуться, взять вожжи, петлю сделать, привязать вожжи на березу, повеситься, в конце концов. Не сходится. Значит, Федор повесился сразу, как милиционер убежал в правление. А стрелял в Надьку кто-то другой. Но кто? Виктора вызывали на

допрос — говорят, у него алиби, где-то на тракторе в это время работал. Да и ружья у него никогда не было. Любка, говорит, на сенокосе была — да и кто на нее подумает.

...Осталась Любка одна жить. Замуж больше не выходила — не было в селе лейтенантов, а на рядовых и сержантиков не хотела размениваться. Дом и двор продолжали рушиться, но не обращала внимания Любка на эти мелочи. Работала во всю мочь: и скотину держала, и за большим огородом ухаживала. Городские родственники без гостинцев не уезжали.

Как-то и Лешка приезжал. Шофером в городе работал. Приехал он в село на своей служебной машине — на грузовике. Сначала к отцу на мигу, а потом Любку на сенокос повез. Любка как приехала, косу в руки взяла — и давай махать ей, как мужик. А Лешка в траву лег, папиросу курить стал. Мужик, что на соседнем пае траву косил, крикнул и в шутку, и всерьез:

— А ты чего развалился, бери косу — помогай!

Лешка медленно (так семечки плюют, маясь от безделья, на завалинке селяне) слова говорил-выплывал:

— Эни-бени, трали-вали, это нам не задавали, это мы не проходили.

— Вот это помощник! Вот это крестьянский сын! — воскликнули мужики, что были рядом, густо перемежая слова возмущения с далеко не печатными словами.

— Да! Не в отца пошел! Этому палец в рот не клади!

И внешне изменился Лешка: высокий, здоровый парень с большой продолговатой головой и бестолково-наглым взглядом.

А Любка что глухая: машет и машет косой. Хрустит под ее косой сочная трава, большими валками остается сзади.

И не старела будто Любка — ее так все Любкой и звали.

А береза на следующий год, как умер Федор, с весны стала вроде засыхать, но к середине мая отудбила, мелким листом зазеленела, только некоторые ветки сухими так и остались.

Лет пятнадцать прожила после Федора Любка. Весной полезла в погреб картошку выбирать и упала с лестницы вниз. Голову разбила о камень-пригруз. Умерла.

И еще прошли года.

Колька выучился на инженера и всю жизнь проработал конструктором на заводе, звали его теперь Николаем Егоровичем. Ближе к пенсии сердце стало беспокоить — записался на прием к кардиологу. Пришел в клинику, сидит — очереди своей дожидается. Вышла медсестра из кабинета и, обращаясь к больным, что сидели в коридоре, спросила:

— Александр Сергеевич Городнов тут?

Поднялся полноватый, высокий, немолодой мужчина в военном кителе, на плечах погоны полковничьи, и по-военному ответил:

— Так точно!

Колька сразу узнал — это был Сашка-прицеп. Подошел, разговорился. После школы Сашка в военное училище поступил, потом служил в армии — скоро в запас.

— Немного до генерала не дотянул, здоровье подкачало.

Не виделись прежние друзья, можно сказать, всю жизнь, но интересы теперь у каждого разные, и говорить вроде не о чем. Стали прошлое вспоминать, и о том трагическом случае тоже вспомнили.

— Мы об этом случае в городе сразу узнали, — рассказывал Александр Вячеславович, — а месяца через два Кузин к матери заезжал. Я

краем уха слышал обрывки их разговора. Уговаривал он мать, чтобы она за него шла. А мать ни в какую — она в то время с человеком одним встречалась — начальником большим, другие у нее планы были. Кузин расстроен сильно был, нервничал, сказал, между прочим, такие слова:

— Я, — говорит, — ради нашего счастья большой грех на душу взял.

— Ни с чем уехал Кузин. У матери с тем человеком — начальником большим — ничего не вышло, тянул резину мужик: погоди, говорил, дети подрастут — разведусь с женой, а дети подросли — молодую бабу себе нашел. Пить мамка стала, лет в пятьдесят от белой горячки умерла. Я на похоронах не был — службу нес в горячей точке.

— А ты что ж? По стопам отчима пошел? Офицер! — попытался и тему перевести, и пошутить Николай Егорович.

— Да уж, неизвестно, куда судьба выведет.

«Неужели Виктор жену пристрелил? Нет, что-то тут не сходится. И ружья у Виктора не было, и алиби стопроцентное», думал Николай Егорович.

А дом Федора до сих пор стоит. И береза стоит. Засохла, исполнив предсказания соседки. Родственники Любки обратились к Колькиной тетке с просьбой, чтобы присмотрела она за домом и сараями, а может, и продала бы их. Попросили соседи сарай на дрова разобрать — тетка разрешила, а те потом принесли ей ржавую одностволку — говорят, между шифером и стропиной была спрятана. Открыли ее, а там патрон стреляный шестнадцатого калибра. И тут вспомнили старожилы, что у Алексея Чичкина было такое ружье.

Дом Федора постарел и перекосялся — совсем в землю ушел. Если в сумерках смотреть в сторону оврага, его за травой и репьями и не видно. Только ствол сухой березы белым стволом указывает это место.

